



Фото Александра КОЧЕТОВА

**С**УДЬБА поэта всегда драматична — где бы и когда бы он ни родился. В России же — то ли из-за нашей особой, может быть, даже биологической связи с ней, то ли из-за ее извечной многострадальности — дорога поэта нередко перерастает в дорогу на голгофу. Ему, ведомому по жизни провидчеством, ему, пишущему *Любовь* с большой буквы, однажды, на переломе собственного бытия, начинает катастрофически не хватать свежего воздуха. Когда же оба пика этих переломов — исторического и личного — совпадают, лишь последний выдох таланта парит, дрожа и замирая, над только что написанными стихами.

...Двадцатое ноября 1991 года выдалось сырым и пасмурным. Тропинка от скромной дачи к гаражу достаточно коротка. Но и она, эта короткая тропинка, хранила долгую память о том, как то поспешно, то неторопливо проходили по ней в течение четверти века два человека: два неразлучных, два заполнивших до отказа друг другом совместную жизнь, два адресовавших друг другу свои строки.

Юлия Друнина и Алексей Каплер. Он был старше ее на двадцать лет, за его плечами к моменту их встречи теснились не только популярные в ту пору кинофильмы по его сценариям, но и десять лет воркутинских лагерей как расплата за девчоночью влюбленность в него дочери «отца всех народов» Светланы Сталиной. За спиной Юлии Друниной все еще звучало в те пятидесятые, как и в последующие, эхо войны, с которой она принесла, помимо двух ранений, еще и священное чувство товарищества и человеческого до-

стоинства. За ее спиной и вокруг нее бурлило голодное, бедное, по-своему счастливое и несчастливое время, когда Юлия Друнина писала:

*Я, признаться, сберечь  
 Не сумела шинели —  
 На пальто перешли  
 Служивую мне:  
 Было трудное время...  
 К тому же хотели  
 Мы скорее  
 Забыть о войне.  
 Я пальто из шинели  
 Давно износила,  
 Подарила я дочке  
 С пилотки звезду,  
 Но коль сердце мое  
 Тебе нужно, Россия,  
 Ты возьми его,  
 Как в сорок первом году!*

Теперь, перечитывая это и другие известные стихотворения поэтессы, заново для себя отмечаешь: как же точно передают они настроение тех лет и того поколения, какие реальные детали и образы несут в себе, какую правдивую, неприукрашенную летопись событий, начатую рано повзрослевшей и чуткой к поэтическому слову школьницей, представляют читателю... Летопись, эпиграфом к которой — от первой до последней страницы — могло бы стать всего одно, как пароль, слово «Россия». России, единственно ради которой стоило жить, и прежде всего любить.

Алексей Каплер ушел из жизни в семьдесят девятом году после непродолжительной и тяжелой болезни. Но не ушла из жизни Его любовь к Ней.

Осталась в жизни и незатаившая Ее любовь (боль?) к Нему. И на все последующие двенадцать лет бытия растянулись непрекращающиеся ни на год, ни на день — порой по-друнински логичные, подчас по-друнински же необъяснимые, иногда достойные восхищения, а изредка всего лишь недоумения — ее настойчивые попытки облечь бесплотное, по существу, минувшее и потому невозвратное в новую, живую и жизнестойкую плоть. Чем-то заполнить образовавшуюся в душе пустоту, временами пугающую ее своей непроглядностью яму бездонного одиночества. Лишь спустя время выдохнула Друнина в ответ на расхожее «незаменимых нет» свое выстраданное: «Нет заменимых...»

Кто говорит, что попытка не попытка? Для нее эти слова стали синонимами. Всегда и везде старавшаяся держать спину прямо, Юля стоически испытывала свой характер, словно постоянно искала подтверждений тому, что не стала слабой.

Пыткой было для нее, так и не преодолевшей в глубине души трогательной подростковой застенчивости и скованности, трибунное и публицистическое участие в общественной писательской жизни — во имя защиты чести своего поколения, подлинных предстателей которого становилось все меньше, а значит, и здесь ее подстерегало одиночество.

Пыткой обернулись некогда совершаемые с А. Каплером походы по старокрымским горно-лесистым дорогам. Теперь для этих походов требовались случайные попутчики, а целью станови-

## Юлия ДРУНИНА: «Мне уходить из жизни — с поля боя...»

лось старокрымское кладбище, где на гладкой черной мраморной плите рядом с именем любимого человека было загодя ею оставлено место для своего имени. Над этой плитой, с таким трудом перевезенной из Москвы, продолжалась попытка памятью, попытка Старым Крымом. Пытка — попытка найти оправдательную оценку своей — без Него — жизни, только лишь своего дыхания, только лишь своего творчества, только лишь своего общения со старыми и новыми друзьями. Но вновь и вновь крепло именно на этом пошатом взгорке убеждение, что никем и никогда она не будет понята так, как Им.

Пыткой стало и то, что всегда было ее спасением, — творчество. О чем бы она ни писала, какую бы мажущую свободу ни обещала ей жизнь, все, что происходило с ней и со страной, все, что так или иначе затрагивало ее сердце, измерялось только Им, Его принципами, Его порядочностью, Его былой поддержкой. А следовательно, и творческая свобода могла быть безграничной лишь в совмещении с памятью о Нем. То есть в совмещении с одиночеством.

Чем заменить *также*? Она пыталась (одновременно и мужественно, и беспомощно) скорректировать неожиданное для себя решение занозо наладить личную жизнь. Но это обернулось, пожалуй, наиболее жестокой из всех пыткой и для нее, и для человека, которого она безжалостно и упрямо силилась втиснуть в рамки своей памяти о прошлом. Прошлое не вмещалось в настоящее, не тускнело, не желало быть заменимым. И она спростметью, как в омут, снова бросилась в свое одиночество, повторяя, что именно тут ее истинное спасение.

И все-таки были друзья, было почетное депутатство в Верховном, горбачевском, Совете страны; были секретарства в «большом» и российском союзах писателей, было членство в редколлегиях «Знамени» и «Литературной газеты». Но все это при своей внешней многозначности никак не могло перевесить утяжеленной чаши столь притягательно-одиночества.

А извечная незащищенность художника перед вздыбленным глобальными перетрясками обществом? А болезненная переоценка тех ценностей, с которыми и подчас ради которых была прожита жизнь? А, наконец, измучив-

шая ее, истощившая силы бессонница, не пропустившая буквально ни одной ночи, начиная с первой послевоенной?..

— Знаешь, Татьяна, — могла она сказать, прищурившись, посреди любого домашнего разговора, выбрав короткую паузу или же напряженно сидя за баранкой своего «Жигуленка» (приручение его тоже во многом было необходимо ей как доказательство права на жизнь), — тебе этого, назерно, не понять, но можешь мне поверить. Я устала от бессонницы. А если и засыпаю на три-четыре часа, то иногда мне в забытьи не хочется просыпаться. Знаешь, я была бы рада однажды не проснуться. Ей-Богу, это не самое плохое.

Можно было сердито пристыдить ее за эти казавшиеся малодушными слова; можно было обратиться к ней в шутку; можно было просто отмахнуться от них: красивая, внешне благополучная женщина, тщательно следящая за своей внешностью, за тем, как она выглядит на людях, насколько идет ей элегантный костюм или романтическое шелковое платье... Да не просто женщина, а поэтесса, еще не переступившая к тому же за гребень общественной и читательского интереса к себе... Разве такие обрывают жизнь своей рукой? И никто, кроме нее самой, не видел, не чувствовал с такой остротой, как ширилась и затягивала ее в свою глубину сперва год за годом, а впоследствии час за часом та губительная полынная безысходности, на кромке которой она все еще строила, воздвигала одну защитную преграду за другой: говорила о нозой книге; ждала очереди на новую машину; собиралась перевезти прах Каплера с кладбища в Старом Крыму на кладбище в Москве; загадочно улыбаясь, звала на прогулку по Петровскому парку, чтобы рассказать о последней, тайной и светлой увлеченности «одним человеком»...

А между тем ее уход был, как выяснилось, продуман до мельчайших подробностей еще как минимум год назад. По той же короткой тропинке на даче в Пахре, где каждая пылинка помнила о двух неразлучных, о Нем и о Ней, Юля прошла в последний раз двадцатого ноября. Последний путь — от дачного крыльца до дачного гаража. Последнее сновторное. Включенная «печка». Последний соч. Такой уход не мог обезобразить ее внешность: женщина имела право выглядеть женщиной и после смерти. Записка, адресованная

милиции, с просьбой никого не винить. Записка — близким. Записка — подруге, Вале Орловой, вдове поэта Сергея Орлова. Записка, дружески обращенная к моему мужу, Владимиру Савельеву. Эту, последнюю, я сознательно привожу здесь полностью: слишком часто факт самоубийства обрастает вследствие небывальщинами, а если уж кто и не защищен перед досужими вымыслами, так это именно те, кто никогда уже не сможет произнести «потом» ни слова в свою защиту.

*Володя, считаю тебя хорошим товарищем, потому (как известно, ни одно доброе дело не остается безнаказанным) обещаю тебе просьбами — помочь моим ребятам с похоронами (в смысле «подтолкнуть» СП), а мне с посмертной новой книжкой.*

*Почему уйду? По-моему, оставаться в этом ужасном, передравшемся, созданном для дельцов с железными локтями мире такому кеговерщенному существу, как я, можно, только имея крепкий личный тыл...*

*А я, к тому же, потеряла два своих главных «посоха» — ненормальную любовь к старокрымским лесам и потребность «творить»...*

*Оно и лучше — уйти физически не разрушенной, дичезно не состарившейся, по своей воле. Правда, мучает мысль о грехе самоубийства, хотя я, увы, не верующая. Но если Бог есть, он поймет меня...*

*Обнимаю, прости, живи долго!*  
 Ю.

2011-91  
 Пахра

Рукопись новой книжки лежала на видном месте. Юля перепечатала — сама — ее всю. Дала и название — «Судный час». Один из разделов книги — Ее стихи Ему и Его письма, записки, телеграммы Ей.

Помню, Сергей Наровчатов как-то заметил, что поколение, вернувшееся с войны двадцати-, двадцатипятилетним, не явило миру и русской поэзии какое-то единственное выдающееся литературное имя, но создало сообщество — в меру таланта каждого — многогранный и яркий образ Поэта фронтового поколения.

Не убеждена в абсолютной верности этого утверждения, но если это все же так, то одна, совсем особая грань этого собирательного образа — поэзия Юлии Друниной.

Татьяна КУЗОВЛЕВА